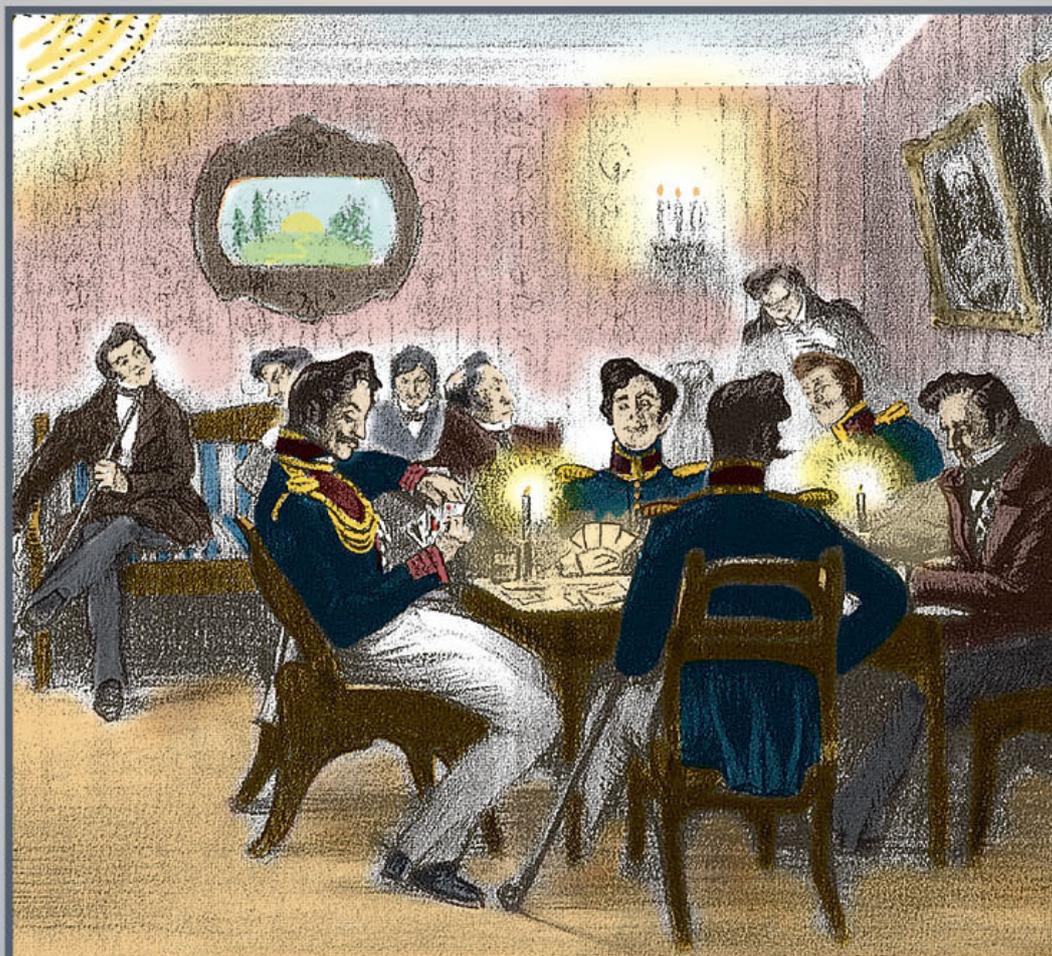


СТАРЫЙ РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ



Вл. ДАЛЬ,
Н. ЛЕСКОВ,
Л. АНДРЕЕВ

ИНТЕРЕСНЫЕ МУЖЧИНЫ



Старый русский детектив

Николай Лесков

Интересные мужчины

«Художественная литература»

1843, 1885, 1902

УДК 882
ББК 84

Лесков Н. С.

Интересные мужчины / Н. С. Лесков — «Художественная литература», 1843, 1885, 1902 — (Старый русский детектив)

ISBN 978-5-280-03970-4

В сборник включены произведения, в которых речь пойдет о преступлении и – наказании, одной из форм которого бывает человеческое раскаяние. Это повесть «Хмель, сон и явь» Владимира Даля, рассказ «Интересные мужчины» Николая Лескова и рассказ «Мысль» Леонида Андреева.

УДК 882
ББК 84

ISBN 978-5-280-03970-4

© Лесков Н. С., 1843, 1885, 1902
© Художественная литература, 1843,
1885, 1902

Содержание

Давность следа...	6
В. И. Даль	9
Н. С. Лесков	22
Глава первая	22
Глава вторая	24
Глава третья	26
Конец ознакомительного фрагмента.	27

**Владимир Даль, Леонид
Андреев, Николай Лесков
Интересные мужчины**



© Оформление А. О. Муравенко, 2023

© Издательство «Художественная литература», 2023

Давность следа...

Не вызывает сомнения, что наиболее популярным жанром в литературе является детектив. Криминальными историями зачитываются все – от мала до велика. По возрасту русский детектив давно уже дедушка, ему более ста пятидесяти лет. Его история начинается со второй половины XIX века. Именно тогда в газетах и журналах стали печатать криминальные хроники и очерки с судебных заседаний. Эти очерки были очень популярны среди населения Российской империи, чем писатели и воспользовались. Однако при этом детектив не выделялся читателями и издателями в общем потоке авантюрно-приключенческой литературы. Термин «уголовный роман» охватывал все произведения (в том числе и исторические), где речь шла о преступлении, независимо от характера конфликта и типов персонажей. Конечно, тема преступления, нарушения закона всегда волновала русского читателя. В первую очередь возможностью погрузиться в мир криминальных приключений. Побывать в роли сыщика, почувствовать себя участником сыского процесса, попытаться разгадать тайну. И все же основная функция детектива – дать возможность читателю осознать, что социально запрещенные пути к достижению любых благ ведут к неизбежному наказанию, и как следствие – убедиться в ложности подобного выбора.

В сборник включены три произведения разных авторов, в которых речь пойдет о преступлении. И – наказании, одной из форм которого бывает, если бывает, человеческое раскаяние. Это повесть «Хмель, сон и явь» Владимира Даля, рассказ «Интересные мужчины» Николая Лескова и рассказ «Мысль» Леонида Андреева.

Владимир Иванович Даль известен читателям прежде всего как создатель знаменитого «Толкового словаря живого великорусского языка». Не менее примечательным трудом Даля является его сборник «Пословицы русского народа», включающий более тридцати тысяч пословиц, поговорок и метких слов. Сам по себе Владимир Даль – фигура не академическая, а вполне легендарная. Но не все сегодня знают, что еще Владимир Иванович был и гардемаринном, плававшим к берегам Швеции и Дании, и мичманом флота в Николаеве. Был врачом, оперировавшим раненых во время русско-турецкой войны, и военным инженером, организовавшим переправу через Вислу по понтонному мосту собственного проекта в период польской кампании. Серьезно занимался биологией и этнографией, был членом-корреспондентом Академии по отделу естественных наук и одним из учредителей Российского географического общества.

О Дале-писателе, печатавшемся под псевдонимом Казак Луганский, заговорили после появления его «Сказок». Однако сборник был расценен жандармерией как «насмешка над правительством», запрещен и изъят из продажи. Даля арестовали, но вскоре, благодаря ходатайству В. А. Жуковского, он был освобожден: царь Николай I простил его за заслуги в польской кампании.

Литературные опыты Даля были довольно высоко оценены критикой. Особенно часто писал о нем Белинский. И хотя по мнению критика, Даль не мастер сюжетных ходов и сложной композиции, зато непревзойденный бытописатель, знающий русскую жизнь всех социальных слоев и умеющий написать о ней правдиво, с сочувствием и добрым юмором. «В повестях и рассказах своих г. Даль является человеком бывалым. И в самом деле, где не бывал он? Он участвовал в польской кампании и в хивинской экспедиции, он был в Молдавии, в Валахии, в Бессарабии; Новороссия с Крымом знакомы ему как нельзя больше, а Малороссия – словно родина его...

Он знает, чем промышляет мужик Владимирской, Ярославской, Тверской губернии, куда ходит он на промысел и сколько зарабатывает... Г-н Даль – это живая статистика живого русского народонаселения...»

С определенной долей иронии оценивали писатели «натуральной школы», к коим, несомненно, принадлежал и Владимир Даль, воссоздаваемую ими особенность миропонимания своих героев, их простодушие и ограниченность силой привычки. Но описываемый в повести патриархальный строй, который, подобно цементу, поддерживал целостность нации и нес в себе строгие моральные заповеди целого рода, нарушение которых вело к отчуждению от коллектива (а вне сообщества патриархальный человек не мыслил своего существования), воспринимался писателем в первую очередь как устойчивая, веками сложившаяся нравственная среда. Принципы, которые утверждены в такой среде, защищают человека, закрепляют в нем осознание причастности к общей жизни коллектива, являются важным законом бытования крестьянских семейств и поселений. Никакой утопизм, фатализм, ни опора на извечное русское «авось» не приуменьшали страха людей перед гибелью души из-за нарушения существующих в такой среде запретов. Этот страх, эти особенности жизни русского человека, многочисленные нравственные табу и помогли герою повести «Хмель, сон и явь» постепенно преодолеть свое грехопадение, вернуться к усвоенному им опыту рода и подчиниться семейным ценностям.

Как уже упоминалось, Даль не мастер сюжетных ходов, поэтому все события в повести разворачиваются как бы случайно. Случайно герой проснулся и подслушал разговор злоумышленников, случайно ему удалось увернуться от удара и ударить самому, случайно сошелся с приятелем-собутыльником и не убил его, случайно же этот приятель отыскался в самый нужный момент. Наконец, случайно судьи не поверили признанию героя повести в убийстве. Этот «случай из жизни» напоминает анекдотический очерк: вроде всё жизненно, достоверно, но веришь с трудом в реальность происходящего.

В. Белинский считал «Хмель, сон и явь» лучшим произведением Даля.

Название рассказа «Интересные мужчины», а отчасти и его тема заимствованы Лесковым из упоминаемого им самим очерка Г. И. Успенского «Куда девался один хороший русский тип?» В очерке Глеба Успенского «пожилая дама» говорит: «Неттеперь интересного мужчины... Вот что мне кажется...» Далее она замечает, что раньше «был господствующий тип мужчины, “достойного благоговения”, поклонения... А теперь нет его... нет теперь такого типа, сокровенную глубину души которого масса женщин могла бы в самом деле благоговейно чтить, уважать или, наконец, просто бояться...»

В рассказе очень образно представлена повседневная армейская жизнь в провинции в мирное время. Лесков создает обобщенную картину жизни, нравов, культуры, в том числе бытовой, армейского сообщества. Повседневные будни заурядных, в сущности, людей, однообразные, скучные, рутинные. Жизнь, в которой постепенно забываются и кодекс армейской чести, и нравственные обязательства, и значение духовного развития. Сюжет тоже зауряден: карты, вино, «офицерская честь», пропажа ценностей во время азартной игры в карты и трагическая гибель ни в чем не повинного героя (вспомним «Брегет» Куприна). Вместе с тем Лесков, как это ему присуще, сумел увидеть и показать читателю, что и в такой опустившейся армейской среде человек способен сохранить в себе честь, достоинство и, вообще, остаться человеком.

Николай Семенович Лесков вошел в историю русской литературы как «самобытный живописец» русской действительности и русского национального характера. Значительная часть его творческого наследия может быть оценена как энциклопедия «типов» и «экземпляров» русских людей.

Рассказ «Мысль» был опубликован в журнале «Мир Божий» в 1902 году, спустя год среди читателей и критиков быстро распространился слух о сумасшествии самого автора. Сначала Леонид Андреев не считал нужным оправдываться, чем только подливал масла в огонь сплетен. Но когда в феврале 1903 года врач-психиатр И. И. Иванов в своем докладе о рассказе «Мысль», прочитанном в Петербурге на заседании Общества нормальной и патологической психологии, полностью повторил слух о возможном безумии автора, Андреев начал метать гневные письма в редакции.

В 1908 году он опубликовал очередное открытое письмо, опровергавшее предположения о его болезни. Однако в 1910 году вышли уже три статьи, в которых утверждалось, что писатель сошел с ума и страдает от острого нервного расстройства. На эти статьи он ответил новым посланием под названием «Сумасшествие Л. Андреева». В нем, не без тени юмора, писал: «Мне надоели вопросами о здоровье. Но все равно поддерживаю этот слух, будто я сошел с ума; как сумасшедшего, все будут бояться меня и дадут мне наконец спокойно работать».

Рассказ Андреева «Мысль» можно рассматривать как отклик на роман Достоевского «Преступление и наказание». Герой рассказа, доктор Керженцев, – классический образец сверхчеловека ницшеанского толка без малейших признаков сострадания. Одержимый мыслью о своей исключительности, о вседозволенности, легко переступает через нравственные категории, отбросив нормы общечеловеческой морали. Он самодостаточен, другие люди – всего лишь пешки, которыми он, не задумываясь, жертвует не только во имя своей выгоды, но даже ради простой прихоти. В конце концов прекрасно может обойтись и без них. Стоит ли в таком случае горевать по поводу убийства одного, нескольких или даже множества людей?

Леонид Андреев увлекался творчеством и идеями немецкого философа Ницше, а высказанная им идея о выдающейся личности, которой позволено распоряжаться жизнью других людей, получила в те времена в обществе новое философское оправдание. Привлекательность этой теории требовала нового, художественно-нравственного отпора. Поэтому неслучайно Андреев обращается к этой теме: в рассказе уже произнесен приговор новой идеологии.

В 1880-1890-е годы в обществе много говорили о близости гениальности к безумию, обсуждая теорию Ч. Ломброзо. С подачи немецкого публициста Макса Нордау появился даже термин «нервное вырождение поколения». На что писатель Антон Павлович Чехов отвечал: «Никакого вырождения нет. Нет и “нервного века”, но мы все страдаем неврастением. Она явилась оттого, что мы попали в непривычную для себя обстановку. Наши отцы землю пахали и кузнецами были, а мы в первом классе ездим и в пятирублевых номерах останавливаемся...»

Сумасшествие – это расплата за нарушение всеобщего нравственного закона. Именно этот вывод можно сделать, прочитав рассказ «Мысль». Психическое заболевание связано с потерей веры в силу и точность мысли, как единственной спасительной реальности. Оказалось, что кроме рационального мышления в человеке имеются еще и иррациональные силы, которые бессознательно взаимодействуют с мыслью, определяя ее характер и течение. Так и в рассказе: мысль, еще вчера послушная герою, вдруг изменила ему, обернувшись кошмарной догадкой: «Он думал, что он притворяется, а он действительно сумасшедший. И сейчас сумасшедший...»

Три таких самобытных, талантливых и уже в силу своего таланта – таких разных русских писателя. И три своеобразных ярких произведения, которые издательство «Художественная литература» решило собрать в одном сборнике, надеясь, что он непременно заинтересует российского читателя.

В. И. Даль

Хмель, сон и явь

Ведаюсь промеж собою, в кругу людей, коим уже родом и судьбою назначено жить бело-ручками, мы удалены участием своим от жизни чернорабочей. Жизнь простолюдина кажется нам чрезвычайно однообразною, незанимательною: всем помышлениям указан тесный круг; вечные заботы о насущном хлебе; нет потребностей, кроме сна и пищи; нет доблести, кроме случайной; есть добродетель, покуда нет искушения, а нет искушения – где нет кабака.

Нельзя спорить против этого, нельзя и согласиться безусловно. Человек всё один и тот же; отличается один от другого либо тем, что бог ему даст, – и этот дар даруется не по сословиям; либо тем, что приобретешь наукой и образованием, – и если это собственность высших сословий, то по крайней мере способность, восприимчивость к тому всюду одинаковая; либо, наконец, отличается один от дру-того кафтаном – и это различие, бесспорно, самое существенное, на котором основано многое.

В малоземельных губерниях наших значительная часть населения зарабатывает хлеб свой на чужбине и возвращается домой только временно, почти на побывку, принося с собою деньги на хлеб, на подушное и на другие нужды. В близких от столицы губерниях крестьяне уходят только на лето, а зимою или бывают в извозе, или занимаются ремеслом, или же, наконец, лежат на печи; но из дальних губерний работники уходят на два, на три и более года, не только в столицы, но и во все концы царства; симбирцы, владимирцы, ярославцы строят дома в Уральске, Оренбурге, Омске и Тобольске. Во многих малоземельных губерниях большая часть господских имений на оброке, мужики ходят по всей России и одни только старики, бабы и дети сидят дома. Тысячи плотников, столяров, половщиков, каменщиков, штукатуров, печников, кровельщиков рассыпаются оттуда ежегодно по всей России; крестьяне целыми селениями держатся по наследству промыслов, к коим привыкли уже деды их. Целые деревни тверитян или новгородцев бывают летом в Питере штукатурами, а зимою сапожниками; привозят товар свой каждую весну, когда идут на работу обозами в северную столицу нашу, отдают сапоги нипочем, лишь бы выручить зимние харчи, и эти-то обозы наполняют знаменитые лавки Щукина двора, где готовые и на вид порядочные сапоги можно купить за целковый, то есть дешевле, чем в Петербурге обходится самый товар.

Бурлаки и музуры¹ – судорабочие и матросы, идут вниз по Волге огромными толпами, с сермягою и котомкою за плечом, с парюю запасных лаптей на поясе, с деревянною ложкой, заткнутою на шляпе за ремень, лычко или бечевку; за пылью и грязью на этих людях больше ничего не видать. Бурлаки поднимают суда на лямках, бечевою, вверх по Волге, отправляясь сперва за этим пеши вниз, и при всем том народ обходится здесь судохозяевам в работе дешевле быков и лошадей. Вот работа и хлеб для самых грубых, не искусных ни в каких ремеслах околотов, и вот тот народ, который работает эту конскую работу, в поте лица, месяц сряду, с тем чтобы, отбив одну путину, пропить всё в три дня. Не стану поминать промышленников и дармоедов разных родов, кулаков, которые меняют по деревням разные припасы, – кошатников, которые собирают колотковые меха, выменивая у баб кошек на деревянную посуду, – разносчиков и ходибщиков², а говоря собственно о ремесленниках, должно упомянуть и о крестьянских портных, которые ходят зимою по селам и, постукивая в окно, спрашивают: нет ли шитва? потом рядятся с аршина и с овчины и берут копейки по две, с уговором не пускать уже в эту деревню других портных – за что обшивают волостное начальство безденежно, – а обшив

¹ *Музур* — матрос на купеческом и промысловом судне Каспия, как бурлак матрос на речном судне.

² *Ходибщик* — мелкий торговец, разносящий товары по домам.

всё село, идут далее и опять стучат посохом в окна. Нижегородские татары, возвращаясь домой под предводительством одного довольно статного мурзы, называемого всюду по пути князем, покупают на заработанные деньги башкирских (саратовских), киргизских и калмыцких лошадей, откармливают их путем по ночам воровски у стогов и скирд и перепродают по дороге с барышом извозчикам и ямщикам.

В этих малоземельных селениях заведено большею частию, что молодой парень должен заработать наперед известную сумму на отца и семейство свое, потом уже, уплатив года три-четыре подушное за отца или деда и за малых братьев, идет он работать год или два на себя и женится. Тут не найдете вы мужика-домоседа, мужика, который не видал бы свету; только разве в больших семействах, пятаериках, семериках, один постоянно остается дома. Может быть, это обстоятельство объясняет сильную склонность, всегдашнюю готовность крестьян наших к переселению; едва ли проходит спокойно два-три года сряду, чтобы какой-нибудь пустой, нелепый слух, бестолковая молва, бессмысленная сказка – приплетенная самым диким образом, ни к селу ни к городу, к новому узаконению или постановлению – чтобы, говорю, какая-нибудь дикообразная сказка не подняла вдруг целые селения на ноги – бог весть куда, в какой-то баснословный край, где нет ни подушного, ни рекрутства. Тамбовские, воронежские, орловские, пензенские, калужские и других губерний переселенцы наводняют целыми ордами восточные пределы государства, кочуют, как цыгане, по несколько лет сряду, то не получая отводу новых земель, то не соглашаясь селиться там, где указывают, то избирая по произволу чужие частные или войсковые земли, поселяясь на них силою и возвращаясь по несколько раз опять на то же место, с которого сводят их посредством исправника или даже воинской команды. Господские крестьяне уходят бурлаками до Астрахани, нанимаются там в бурлаки, в музуры, в тюленщики, в рыбаки, ходят в море, пропадают несколько лет без вести, не заботясь о давно просроченных паспортах, и нередко попадают в плен и рабство к адайцам или туркменам – рабство, коему правительство наше, наконец, ныне положило предел.

Кочеванье это бесспорно бывает поводом порчи нравов; мужик балуется, и многие обвиняют за это шатающихся крестьян; но на всё есть свои причины, и нам кажется, что, объехав, например, Владимирскую губернию, не станешь дивиться, для чего тысячи рабочих рук ежегодно ее покидают. Тут почва большею частию так дурна, что, глядя на этот сыпучий песок, перемешанный с какою-то мертвою, серою пылью, на болото, мшину и кочкарник, обгорелые пни и коряги – пожалеешь о потовом труде мужика, поднявшего лемехом каждый клочок и уголок, где только можно протащить одноконную соху. Если немец или англичанин сумели бы извлечь из этой неблагодарной почвы десяте-рицею больше нашего, то это еще ничего не доказывает; чего мы не знаем, тому не верим, а чтобы разуверить человека, у которого все основано на опыте, на завете отцов, – должно убедить его и переучить делом, а не словами. Есть, без сомнения, и другие причины этой страсти к переселению – но их оставим в покое. Везде хорошо, где нас нет.

Во Владимирской губернии на большой дороге есть село, известное по мастерству и прилежанию своих крестьян, плотников и столяров, в числе коих наберется и десяток-другой краснодеревцев. Село это известно под названием Глухого Озера и почти поголовно уходит в Заволжский край на работу. Тут жила большая семья Воропаевых; дед сидел уже дома на печи, а отец и четверо сыновей ходили постоянно, по вызову подрядчиков, куда только путь-дорога лежит, и кормили и оплачивали всего не менее семнадцати душ. В числе подрядчиков этих были родной брат отца-Воропаева, и дядя четырех сыновей; ему посчастливилось в работе, хозяин был он хороший, мужик смысленный, сшил себе синюю сибирку, взял сажень в руки и стал держать артель.

На этот раз плотникам нашим случилось проработать лето всем вместе или поблизости одному от другого; отец собрал их к зиме и велел собираться так же, как обыкновенно хаживали они, и поочередно, на общий счет, чтобы не больно издержаться. Рассудив, что степную

лошадку можно продать без убытку на каком-нибудь яму³, Воропаевы купили пару коней, и около Рождества старик наш с сыновьями прибыл домой. Он не был на родине уже два года и подкатил на санях под ворота с резной стрехою – как снег на голову; никто его не видал. Вошел не торопясь в избу, он отсунул от себя левой рукой старуху свою, которая, закричав от радости: «Ох ты, родимый мой!», бросила было веретено свое и кинулась сдуру обнимать мужа. Он помолился преспокойно иконам, между тем как жена заливалась слезами; потом уже вымолвил: «Здравствуйте», поцеловал старуху свою, дочерей, малых сыновей и внуков. Вошли и приезжие четыре сына; семья жила нераздельно, в большой, просторной избе на две половины с комнатками. Вскоре сбежались и замужние дочери, и кто был на селе из зятьев; тут пошли шурья, свояки, свояченицы, тещи, невестки, кумы, кумовья, – русский человек без сродников не живет, – и набралась полная изба. Отцу своему Воропаев-отец поклон в ноги; жена ему поклон в ноги; словом, все пошло своим порядком, и сродники кланялись низко отцу, дюжему плотнику, целовались с сыновьями его, говорили приличные речи, как следует по закону, например: «Как вас бог миловал? По добру ли, по здо-рову? Соскучились мы по вас совсем» – и прочее, а затем приезжие разделись, то есть распоясались, скинули тулупы и кафтаны, уселись вокруг стола, заняв красный угол избы, а бабы подавали есть и пить, толпились около печи, за загородкой шарили в резном поставце, выгоняли из-под лавок кур, которые думали воспользоваться праздником и суматохой и втерлись под ногами у посетителей в избе. Между тем ребятишки, растянувшись на краю полатей ничком и потряхивая головами, глядели на всё это, мигая и толкая друг друга. Кроме корчаги щей и горшка каши, плотники наши опорожнили вскоре два огромные кувшина квасу и отрезали себе на закуску по сукрою⁴ хлебца четверти в три, посыпав его крупною, как горох, солью.

– Добрались-таки опять до своего хлебушка, – сказал отец, – а было и есть его разучились.

– Нешто, – отвечал сын низовым наречием, к которому привык на работах своих, – нешто, добрались; а и белые калачи их ладно под зуб ложатся, батюшка, что у нас вот пирогами зовут. Там хлеба век не знают, – прибавил он, оборотившись к свояку, человеку не бывалому, который сидел дома на хозяйстве, – всё калач, что по-нашему пирог.

– То-то ведь мы и ходим к ним калачи-то есть, – заметил отец, посолив еще раз из солоницы ломоть свой и стряхивая над ним пальцы, – что у них калачей-то много, что сами они с ними не управятся.

– А рыбы-то у них, рыбы... – начал другой сын, – хоть круглый год постись; и свиной рыбой кормят, и собак рыбой, да и коровы, брат, там рыбу едят; ей-богу, едят! Вот земля!

– Разумеется, так, – сказал один из сродников, – что город, то норов.

– Как так коровы? – спросил свояк, которому понятливость или сговорчивость сродника не пояснила дела.

– Да так, брат, едят, да и только; пожалуй, хоть отца, батюшку спроси и братьев, чай, не дадут соврать; вот хоть и в самой Астрахани: заместо того, что у нас дадут корове месиво какое, что ли, а там вяленой рыбки соленой подкинут ей, она и жует ее, ровно хлеб.

– А народу что там некрещеного, – начал другой, – так господи воля твоя!..

– Вишь ты, брат!

– Калмык про махан толкует, карсак (кайсак) про свое там что-нибудь, татарин *киль-мунда*⁵, *ки-зилбаи*⁶ молчит, сидит себе, таки вот хоть не води ушами, не при тебе писано.

Гости, и в особенности бабы, дивились всем чудесам этим; вскоре, однако ж, посторонние все разошлись с поклонами, и остались одни хозяева. Смерклось; подали светец и лучин;

³ Ям — почтовая станция на Руси XIII–XVIII веков, где содержали разгонных ямских лошадей, с местом отдыха ямщиков, постоялыми дворами и конюшнями.

⁴ Сукрой — круглый ломоть хлеба, во всю ковригу.

⁵ Киль-мунда — иди сюда.

⁶ Кизилбаи — перс (букв. — красноголовый).

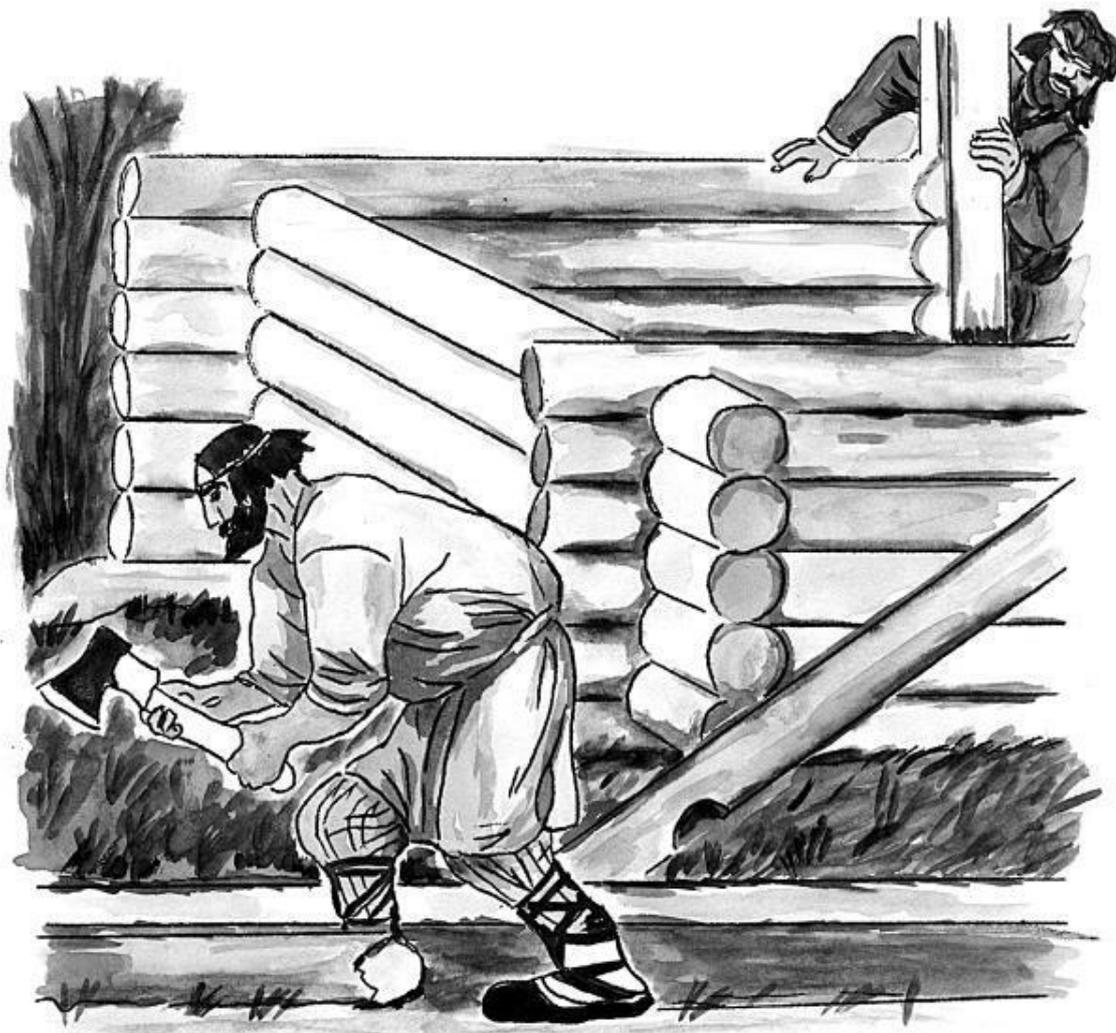
отец позвал деда на совет, заперли двери на крючок, выслав наперед баб, – достали и сосчитали принесенные с собой деньги, рублей по двести на брата, кроме того, что переслали уже домой на оброк; рассчитали, сколько и куда из них пойдет; потом убрали деньги, позвали баб, и отец роздал жене, дочерям и невесткам по платку; и мужья вытащили гостинцы свои; отец с дедом потолковали о том, где кто работал, по чему брал, что прохарчил и заработал и сколько принес. Наконец старик Воропаев подозвал к деду третьего сына своего, Степана, принес на него горькую жалобу, что он-де стал ни с того ни с сего погуливать и немало денег пропил.

Гневно вскинулся дед на робкого Степана, который кланялся ему в ноги, божился и заклинал, что вперед не станет никогда, даже в рот ничего не возьмет, – но у деда глаза горели, седой волос придавал суровому красному лицу его грозный вид; белая борода, пожелтевшая уже местами, как поблеклый лист, дрожала. – Степан горько плакал, и сам отец, отступившийся от него в начале жалобы своей и предавший его гневу дедовскому, начал помаленьку задабривать деда, ручаясь за сына на будущее время. Степану объявили, что он с будущей весны пойдет работать на свое хозяйство, что пора его женить.

– Да гляди ты у меня, – прибавил дед, постукивая костылем своим в половицу и потряхивая выразительно по пояс разостлавшеюся бородой. – Гляди, Степан, коли ты у меня пить не бросишь с сегодняшнего дня, то господь попутает тебя, покарает, и наживешь ты себе неизбывное горе.

Настал март, и Степан, положивши на прощанье еще раз большое заклятие, что хмельного в рот не возьмет, стал собираться в путь. Хоть он и зарекался искренно и не пил дома всю зиму, – но ему как-то боязно было идти в одно место с отцом и с братьями, и он пошел в Саратовскую губернию, под предлогом, что там-де, слышно, лучше платят. Как хорошему плотнику, ему и точно дали триста восемьдесят рублей на хозяйских харчах за лето, то есть от Пасхи до Покрова, либо до Кузьминок, до Козьмы и Демьяна, или ссыпчины⁷, также девичий праздник, потому что девки сходятся в одну избу, приносят каждая что-нибудь съестное, готовят вместе ужин и празднуют свой праздник.

⁷ *Ссыпчина* — к празднику Кузьминки у крестьян производилась складчина ячменя, солода и прочих продуктов для изготовления общественного пива и меда.



Степану пришлось работать с небольшою артелью, сперва в одной барской усадьбе, а там в удельном имении, где рубили избу для приказа. На барском селе жил так называемый в тех местах дворник, или содержатель постоянного двора. Этот человек был некогда господским, взял себе в голову, что не хочет служить у господина, хочет на волю – а уж как русский человек заберет себе в голову что-нибудь, то справиться с ним мудрено. Тут ни опасности, ни очевидная бессмыслица предприятия и здравые, благоразумные убеждения ваши не пойдут впрок; «оно всё так, – подумает он, а иной раз и скажет, – да уж власть господня, что будет, то будет, а я уж хочу того либо другого, уж пусть так и будет». Таким образом молодец наш, забрав себе в голову, что ему надо быть мещанином, и собрав бог весть из каких источников бестолковое сведение, что на Черном море можно приписаться, собрался и ушел. С этого первого похода на Черное море привели моего молодца, перехватив его где-то на перепутье, с выбритой наполовину головой; но как он твердо вознамерился достигнуть во что бы ни стало обетованной земли своей, то он вслед за тем попытался в другой, и третий, и в десятый раз, каждый раз возвращался по пересылке с бритой головой и до того надоел, наконец, помещику, что этот отпустил его на волю за триста рублей, которые неизвестно каким образом очутились у Черноморца – прозвание, приданное ему единогласно целым селом.

Черноморец поселился в Саратовской губернии, в помещичьем имении, и у него достало бог весть каких денег купить избу и выплатить помещику за год вперед оброк за постоянный двор. Степан случайно познакомился с ним, когда еще в прежние годы тут работывал, свел даже какую-то хмельную дружбу и не раз в прежние годы вместе с ним бывал пьян. В этот

раз Степан крепился и держался; вскоре артель перешла на работу в удельное село⁸, и может быть, вся дружба их тем бы и кончилась; но Степан остался работать и на зиму, потому что работа нашлась и ему хотелось принести более домой, утешить отца и деда и жениться. Тут подрядчик послал его на санях в одну лошадку забрать в господском селе какой-то оставленный там плотничий прибор.

Степан заехал переночевать к своему Черноморцу и тут-то на досуге и на приволье, как гость, противу потчевания не устоял. А хозяин поил его вечерком с особенным усердием и заставил признаться в дружеской беседе, что у него в нательном бумажнике есть сотни две заработанных денег. Легли спать: гость на лавке, под образом, а хозяин с хозяйкой за перегородкой. Степан заснул, как лег, но ему привиделся страшный сон: родной дед его, в красной рубахе, с седыми, как лунь, волосами, пожелтевшею бородою, со страшными глазами и загорелую, как юфть⁹, шейю, стоял перед ним и хотел его зарезать за то, что внук напился пьян. Степан проснулся и перекрестился; холодный пот проступил у него по всему телу. Хмель прошла, сон прошел, сердце стучало вслух, и Степан лежал целый час, едва переводя дух, едва смея вздохнуть.

В это время послышался ему легкий стук и шепот за перегородкой. Степан уставил впотьмах глаза в потолок и стал чутко вслушиваться: хозяйка упрасивает и умаливает хозяина о чем-то, а он ее сурово отталкивает и приказывает вздуть огня. Она всё свое; он сердится, грозит, но шепотом; наконец Степан слышит ясно, что речь идет о душе его; хозяйка говорит:

– Родной ты мой, полно, покинь; не тронь его, господь с ним, мало ль ты уж на душу свою греха принял! Ну, за что ты его погубишь? Побойся бога хоть раз, не тронь его...

Степана дрожь проняла до мозгов, однако он нащупал наперед всего топор свой, сел, кашлянув громко, и спросил:

– Хозяин, никак и ты не спишь! Вели, пожалуйста, огонька вздуть, да разочтемся за сенцо, мне, чай, уж ехать пора.

Хозяин дал хозяйке своей тихомолком зуботычину, велел вздуть огня, – и она на этот раз послушалась, – вышел к Степану, сказал:

– Что так рано, еще никак первые петухи только что замолкли?

– Да так, – отвечал Степан, – лошадь, видно, уж отдохнула, так пора собираться; хозяин наказывал пораньше поспеть на место.

Степан рассчитался с оглядкой, оделся, заткнул топор за пояс, пошел закладывать своего мерина, сказав, что зайдет еще, но вместо того сам растворил ворота, перекрестился, сел и поехал: хмель, говорит, всю из головы выбило, и следу не осталось.

Выехав за село, Степан пустил лошадь свою шагом и стал думать о том, что с ним случилось. Не верилось ему как-то, чтобы Черноморец посягнул на такое дело, и Степан уже почти готов был подумать, что всё-де это ему во сне привиделось либо с похмелья померещилось. В это время другие мужицкие сани догоняли рысью Степана и кто-то кричал:

– Сворачивай, не видишь, что ли?

Степан оглянулся впотьмах, голос показался ему что-то знакомый.

– Сворачивай, тебе говорят!

– Тесно, что ли, тебе по дороге, – отвечал Степан, – объезжай стороной.

Наехавший сзади своротил в это время в сторону и в ту же минуту вдруг ударил изо всей силы Степана цепом. К счастью, Степан, напуганный уже вперед знакомым голосом и подозревавший что-то недоброе, не спускал с глаз своего попутчика и успел уклониться несколько от взмаха цепа, так что удар пришелся только в грядку саней и частию по ляжке. В один миг

⁸ Удельное имение — имение, являющееся собственностью царской фамилии.

⁹ Юфть — вид дубленой кожи, обработанной особым способом растительного дубления, изготавливается из шкур крупного рогатого скота, лошадей, оленей, свиней. В основном используется для производства верха обуви.

Степан выхватил цеп из рук убийцы, взмахнул и ударил его самого изо всей силы в самое темя; тот свалился в сани и уже не вставал. Лошади сбили между тем одна другую к краю дороги и остановились, упершись головами в сосну.

Степан перекрестился, слез с саней, оглянулся кругом – всё тихо и пусто; подошел к недругу своему, посмотрел ему в лицо – он, он и есть, Черноморец, хозяин постоянного двора! Итак, отпустив плотника из дому и опасаясь, может быть, что он слышал ночной разговор и донесет теперь о злом умысле хозяина, этот решился нагнать его дорогой, хотел заставить своротить, чтобы отвлечь внимание его от себя, и наездом думал сбить его ударом цепы и обобрать. Судьба посудила иначе: хозяин лежал убитый перед плотником, а этот, радуясь своему спасению, не знал куда, однако же, со страху деваться; он убил человека, будет сидеть в остроге, судиться, словом, пропадет.

Подумав немного, Степан, опасаясь всех страшных последствий, решился скрыть и утаить этот случай. Он нашел в стороне от дороги порядочный овраг, заваленный снегом и хворостом. Очистив одно место, он свалил туда убитого, прикрыл его опять хворостом и снегом, а лошадь оборотил назад и пустил по дороге домой. Затем Степан сам сел и поехал.

Ночь, темно, холодно, пусто и глухо. Задумался Степан наш и рассудил наконец, что всему-де этому виновата проклятая чарка. «Она меня было замертво спать уложила, и кабы не сон, кабы не приснился мне грозный дед, так, видно, и не вставать бы мне с лавки. Ох, чуть ли не правду он говорил мне, что наживу я горе неизбежное, – чуть ли это не оно и приспело. Не стану пить; вот, ей-богу, господь видит, не стану», – снял шапку и перекрестился, на небо глядя, и заплакал.

Приехал Степан в господскую деревню, куда его послали, принял, что следовало, переночевал, накормил лошадь и пустился опять назад. Страшно там было ему подъезжать к селу, где свершилось над ним прошлого ночью столько недоброго; сердце стучало, и Степан наш робко оглядывался. Время опять было под вечер; улицы на селе тихи, почти пусты, кой-где баба с ведрами, мальчишка в братнем тулупишке, в отцовской шапке; огонек кой-где уже светится в окна, словом, всё мирно, тихо, приветливо. Стали мучить Степана и страх и любопытство; дай-де узнаю, что теперь делается в доме моего Черноморца. Подъезжает – и тут всё тихо, огонек виден в окно, ворота заперты. Степан подумал – да и стукнул кнутовищем в ставень.

– Что надо?

– Покормить лошаденку, пустите.

Хозяйка отворила волоковое окно¹⁰ и высунула голову:

– Нет, господь с вами, проситесь к другим, нельзя.

– Что так? Ведь вы ж, бывало, пускаете?

– Пускаем, да теперь нельзя, хозяина нет дома, без себя пускать не велит; да это ты, Степан! Я было тебя и не узнала! Нет, кормилец, без хозяина пустить не смею, собачиться будет, ей-богу; ступай вон наискосок, к Федулову, там пустят, и сенцо у них свое, хорошее.

– Да где ж у тебя хозяин? Ведь вчера дома был, как я ночью уехал?

– А кто его знает, куда его занесло; вслед-таки за тобою, господь знает зачем, заложил сани, сел, да и поехал, – а еще и деньги при нем были в бумажнике, рублей со сто никак; видно, запил, что ли, где-нибудь; диво только, что лошадь сама домой пришла, – аль он хмельной упустил ее, – пришла одна, и место, знать, в соломе на санях, где сидел, а его, вишь, нет.

Степан простился, сел и поехал, а хозяйка затворила окно. «Стало быть, – подумал он, – никто ничего не знает. Да и что ж мне, вправду, чего бояться? Я выехал себе наперед, приехал – хоть разыскивай, сколько хочешь, – в Родимилловку, никуда не заезжал, никто не видал, – он выехал после меня, – с чего ж тут кто на меня скажет? Никто и не подумает, и подумать нельзя никак. – Однако сто рублей, говорит хозяйка, при нем были, а кому они достанутся? Никому;

¹⁰ маленькое оконце, в которое выволакивает дым в курных избах.

тут и пропадут, сгниют, как весна придет, только и будет проку. А наш брат, рабочий человек, бьется целое лето изо ста рублей... эго диво, подумаешь, сто рублей! И никто за них спасибо не скажет, никому впрок не пойдут, так себе изведутся. Ну да не до них теперь; благо только самого господь от беды помиловал».

Поровнявшись дорогой со знакомым ему местом, Степан стал, однако же, думать и размышлять об этих деньгах посмелее: «Как-таки проехать, не взять денег, не поднять их с земли, когда тут валяются? Никого я этим не обижу, ни у кого добра не отымаю – просто само навернулось». Степан остановился, прислушался на все стороны – всё тихо, глухо, никого нет. Он спустился в овраг, отыскал покойника, нашел при нем тельный бумажник, вынул из него деньги и поторопился опять в путь. «Завтра сосчитаю, – подумал он, – не уйдут они теперь. Я этого не искал, за этим делом не ходил, он сам навязался. Это мне, стало быть, бог послал. Недруг посягал на мою голову – господь ему судил самому подвернуться мне под руку; не перелобань я его, уж он бы меня доехал. Грех на его душе, не на моей; он сам себя извел своею рукою. Прости, господи, согрешения наши!» Перекрестился и поехал.

Степан до этого времени помнил страшный зарок деда, соблазнившись один только раз на ночлеге у покойного Черноморца, зарекся и закаялся после того вдвое и в рот не брал хмельного, но приехал к хозяину в Родимилровку с деньгами, которым никто не знал счета; он обождал еще с недельку, уверился, что никто его ни в чем не подозревает, что о Черноморце и слуху нет другого, как поехал-де да и пропал без вести, а лошадь одна воротилась, – и стал опять – с горя ли, с радости ль, погуливать. Куда правдиво слово это, что недобрые деньги впрок нейдут и что легко добытую копейку ветром из мошны выносит! Пошел да пошел гулять Степан – под конец и удержу не стало, хозяин его прогнал и вычел еще с него за прогул по целковому на день; пошел он к другому, пропив все до нитки, а домой еще и гроша не услал. Пришел Покров, пришли и Кузьминки, настал и последний срок – Воздвиженье, – и новый хозяин, рассчитавшись со Степаном, отпустил его, сказав: «Не ходи ко мне, брат, на тот год – руки у тебя золотые, да рыло поганое. Таких мне не надо. Господь с тобой».



Степан нашел себе у нового хозяина нового товарища, с которым нередко вместе гулял; а как им домой было сотни полторы верст по пути, так они согласились идти вместе. Люди с людьми ушли, а эти двое, как поплоче, так остались вместе – им совестно было к людям приставать.

Теперь стала Степана и совесть мучить, стал грех ото сна, от еды отбивать и страх, что дед скажет, что отец? Степану стало жарко. Взяло его раздумье: «Как я покажусь им без денег? Что принесу домой? А еще и Черноморца ободрал, как разбойник какой, – и всё не впрок пошло!» В это время подошел товарищ его, Гришка, да и пристал к нему: чего-де нос повесил, какое горе мыкаешь? Степан признался, что страшно без денег дома показаться.

– Эко горе! – сказал Гришка. – Да ведь у меня, парень, та же беда: заварил пива, да сталась нетека¹¹; Рублев осьмнадцать всего домой принесу, а надо бы, говорят люди, сотни полторы либо две. Но слушай, Степан, не пойдем мы с тобой по домам; что там делать? Не слыхали мы побранки, что ли?

– И рад бы нейти, – отвечал Степан, – так у меня паспорт только годовой; о Пасху срок.

– Так где же еще у тебя Пасха, перекрестись! Вот тут подрядчик не за горой, набирает народу в Казань; отпиши домой, что ушел в Казань на зимнюю работу, тебе паспорт выправят, вышлют, а ты зимой заработаешь сотенку; лето само по себе пойдет – вот на осень опять будешь с деньгами; тогда с богом домой.

Степан наш словно свет увидел; с радости позвал Гришку в питейный, чтоб почествовать его за доброе слово, да кстати уж запить и радость и горе.

Таким образом они, порядившись с подрядчиком, отправились в Казань артелью, но, не доходя до города, отстали от своих; надо было ведь опять приготовиться к работе; там уж пить не дадут, рассудили они вдвоем, так дай тут вволю на прощанье погуляем, да и закаемся.

Подгуляли товарищи вместе, да подгулявши, как водится, сперва обнимались, целовались, а после – неведомо как и с чего – поссорились, побранились, да немного было и подрались. Народ рад такому случаю; где два дурака дерутся, там уж наверное третий смотрит. На эту пору, однако ж, нашлись, видно, люди поумнее, развели драчунов, и они снова помирились, поцеловались и пошли вместе рука в руку в город. Кто видел их, сказывали, что они шли мирно и толковали только один другому, как найти и доспроситься в Казани своей артели и подрядчика: каждый из них поочередно недоумевал, как это сделать, и каждый опять толковал и объяснял, что язык до Киева доведет, не только до подрядчика.

Видно, долго перекачивались они с одного края дороги на другой; сумерки, а наконец ночь захватила их еще на пути. Сели товарищи наши вместе отдыхать под кустами над Волгой – снова стали считаться, видно, хмель еще не прошла – снова побранились и подрались, может статья, кто их знает, что у них тут было, – да только конец вышел из плохих плохой, такой, что крещеному человеку и вымолвить страшно.

Степан просыпается на заре – оглядывается кругом, – он один, вокруг по косоугору кусты, над головою по горе пролегает почтовая дорога, и тройка пронеслась с колокольчиком – пыль за нею разостлалась, – и всё замолкло; у ног раздольная Волга, широкая, глубокая, тихая, как зеркало, – а товарища нет.

Стало обдавать Степана из-за плеч попеременно то варом, то студеной водой – начал он вспоминать что-то недоброе – глянул себе под ноги на траву, увидел кровь и вдруг вспомнил всё, будто молнией осветило перед ним потемки страшной прошлой ночи. Степан зарыдал, закрыл лицо руками и долго сидел так, охал и стонал, как тяжело больной.

– Суди меня бог и государь, – сказал он наконец, – видно по грехам моим и земля меня не снесет больше; за что я сгубил Гришку сердечного? Черноморец – ну, тому туда и дорога,

¹¹ *Нетека* — остановка течения, неистечение. Заварили пиво, да сталась *нетека*, неудача.

прости господи; он на мою голову посягал; а этот чем виноват? Хмель ошибла его, как и меня, вот и всё; а сколько раз подносил он мне, как товарищу, за последнюю гривну свою? Ох, тяжело, не снесу я этого греха! Не слушал я дедовского заклęcia; знать, рассудил меня с ним господь: вот оно когда пришло неизбывное горе – не роди мать сыра земля, пропащий я человек!

Степан встал, положил еще на прощанье земной поклон и поцеловал под собою мать сыру землю; перекрестился и взмолился в слезах: «Гриша, не попомни ты мне хоть на том свете греха моего», и пошел в город.

Натошак, как был, – не до еды ему теперь стало – явился Степан в земский суд. Рано, говорят, еще никого нет. Степан сел у ворот, где было человек с десятков разных просителей, и стал дожидаться. «Мое не уйдет от меня, – подумал он, – вот эти бедняки стоят всякий за своей нуждой, всякий добивается чего-нибудь, ищет за неправду, за обиду, а я ищу на себя. Суди бог и государь, а уж прощай, свет белый, родимая сторонушка, не видать меня тебе! Вот отец сердечный прочил за меня Марью, Машку Сошникову, – вот тебе и жених! Девка она хоть куда, нечего сказать, да уж я ей не под стать. Ах ты, головушка моя бедная, в омут какой усадила! Правду, видно, дед родимый сказывал, что коли пить не бросишь, Степан, так господь попутает тебя, покарает, и наживешь ты себе горе неизбывное! Ох, оно и есть, оно и привалило теперь, неизбывное, вековечное, даже до преставления света!»

Заседатель пришел, – а в те поры этих станowych¹² и слыхом еще не слышать было, – и Степан к нему, да в ноги. Заседателю надоели, видно, просители, и много их за день у него в ногах переваливается, он было и мимо; так Степан слово и дело вымолвил¹³: «Прикажите, говорит, взять меня, я ночью человека убил»; так все и ахнули, и сам заседатель оборотился, поглядел на него, позвал в присутствие, поставил караул и стал допрашивать: как зовут, кто таков, чей, откуда, зачем, где паспорт, который год, какой веры, был ли у святого причастия, а там уж дошел до дела.

– Степан я, Воропаев, по отце Артемьев, годов, видно, будет мне чуть ли не двадцать четыре, Владимирской губернии и уезда, села Большого Озера, православный, у причастия бывал ежегодно. Пошел я с товарищем Григорьем из такого-то села за таким-то делом в город; на дорогу выпили мы оба; шумело в голове у меня, шумело, видно, и у него; пошли мы считаться, что, вишь, он взял у меня полтинник, да отдавал по гривне и по две, а я считал еще за ним пятнадцать копеек, – раза два бранились и чуть до драки не доходило – всё, батюшка, хмель виновата, ничего не помню, хоть убей. Тут сели мы отдыхать да полу-дновали; опять я его попрекнул, опять стал считаться, он обидел меня, маркитантом обругал, я его – ох, и вымолвить страшно; я его обухом в голову и ударил: на грех и топор этот случился под рукой. Гриша мой покотился, кровь носом полилась ручьем; я испугался – а мы сидели под кустами, недалечко от берегу. – Испугавшись, я его стащил на берег, сунул в воду, да и спустил его по воде; так и сгубил я душеньку занапрасно. Видит бог, батюшка, всё одна хмель виновата, ничего знать не знаю, ведать не ведаю. Что было, всё сказал; теперь что господу богу угодно, то и станется надо мной; что следует по закону, то и делать прикажите – и прикажите заковать.

Всё это записали, приправили, как надо было, по закону и земскому обычаю – и Воропаева, связав, повели заковывать в кандалы. Сам подавал и держал Степан и руки и ноги; «не жаль, говорит, их было – туда и дорога, лишь бы скорее конец, лишь бы не дали сгнить в остроге».

Отвели и туда его; там караульные осмотрели да ощупали кандалы, всё ли исправно, обыскали кругом арестанта, приняли бумагу и расписались; рассыльный взял опять книгу свою подмышку и, не взглянув больше на Степана, ушел. Дело привычное.

¹² *Становой пристав* — полицейское должностное лицо, заведовавшее станом (часть уезда), должность, введенная с 1837 года.

¹³ *слово и дело вымолвил...* – Любо́й человек, желавший сообщить о преступлении, мог рассчитывать, что представители власти внимательно его выслушают. Для этого достаточно было выйти в людное место и громко крикнуть: «Слово и дело».

В первый раз попал Степан в такое место – в первый раз, может статься, и заслужил это. И темно, и сыро, и душно, и грязно. Товарищи такие, что страшно на них и взглянуть; кто в лохмотьях, зарос волосами, космы мотаются; кто исхудал под замком, лица не знать, голосу нет человеческого; а кто еще свеж и дюж, да глядит таким головорезом, что и в остроге страшно рядом с ним лечь. Было тут, как и всюду в таких местах, человека три Ивана непомнящих; мужики здоровые, бороды чуть не по пояс, а говорят: Иваном зовут меня, а опричь того ничего не знаю и не помню: ни где родился, ни где вырос, ни отца, ни матери, ни родины – ничего не знаю, – Иван да Иван – так весь век и шатался. Один сидел с женой, с детьми, и тот то же говорит, и жена ничего не помнит, не знает, только знает, что зовут ее Марьей. «Господи боже мой, – подумал Степан, когда обжился немного в тюрьме, – что за диво, что за Иван да Марья, и выросли и состарились, а знать не знают, ведать не ведают: кто они и чьи они?»

Разговорился раз как-то Иван непомнящий со Степаном и стал уговаривать его вместе бежать. Степан отказался: «Я, говорит, своей волей попал». – «Как так!» – «Да вот так и так». – «Дурак же ты, видно, был, дурак и есть; да ты отопрись и теперь; улики нет, и ничего тебе не сделают». Но Степан, сколько ни скучал, сколько ни томился в заключении, остался при своем показании и ожидал спокойно участи своей.

Между тем дело всё шло своим чередом; водили Степана раза по два в неделю в суд, всё снова допрашивались, добивались – нет концов больше никаких, всё одно и то же. Дознались, какой такой был товарищ его Гришка, разослали повсюду объявления, не найдется ли где, – выждали отовсюду ответы, что нигде такой человек на жительство не оказался, и, покончив наконец все розыски, как уже с того света справок навести было не можно, присудили учинить над Степаном, по собственному сознанию его, по закону, и сослать его в каторгу.

Пошло, однако же, дело это своим порядком, еще из уездного суда в уголовную палату – и там его в одни сутки не порешили; однако же добрались, наконец, и до него, нашли, что всё исправно, – утвердили решение суда, только осталось прокурору отметить: *читал*, да губернатору утвердить приговор, скрепив его по листам, как приказано законом.

Прокурор был человек добрый, а пуще всего смирный, против правды не хаживал, однако же и за дело горазд не ставивал, не надрывался ни над чем. Много за год разных приговоров через его руки проходило, тысячи две, да кроме того тысяч под тридцать решений и постановлений из губернского правления и палат. Всё шло у него гладко и ровно, бумага не кричит, что ни напиши на ней, – так она и была нашему смирному прокурору товарищ сподручный; прочтет не прочтет, а напишет с поля: *читал*, – и концы в воду.

Однако приговоры уголовной палаты старик читывал, по крайней мере от слова: *приказали*] прочел и дело нашего Степана, да и положил его – не Степана то есть, который всё еще сидел в остроге, а дело – положил на ломберный стол, покрытый цветной салфеткой. На стол этот попадали у него все дела с обстоятельствами сомнительными, по коим собирался он когда-нибудь на досуге подумать.

Долго прокурор наш, расхаживая по комнате или лежа на диване с трубкой, косился на сомнительный стол свой и в особенности на приговор, по которому приходилось наказывать человека за то только, что он сам сознался в своем преступлении, на которое не было никаких улик. «Оно, конечно, так, – думал про себя прокурор, – тело унесло по Волге. Волга широка, и глубока, и длинна – коли его и примывало где-нибудь к берегу, так мужики такую беду от себя ночью шестами спроваживали; и ничего нет мудреного, что тела нигде ни отыскали. Да не знаю почему, а дело кажется мне сомнительным; приговор незаконный; кажется, будто на этом нельзя основать приговора. Надо справиться хорошенько в пятнадцатом томе». Подумав так, прокурор покосится, бывало, опять на столик свой, да и задремлет, либо, смотря по времени, наденет сюртук да отправится на вист.

Между тем время шло: напоминает секретарь один раз прокурору об этом деле, напоминает и в другой и в третий – завтра да завтра, и, вместо трех дней, давно прошли три недели, а

приговор не просмотрен. Наконец пристали к прокурору плотнее, заторопили его не на шутку и говорят, что мы-де в ведомостях о нерешенных арестантских делах покажем это дело за вами.

Только что собрался было прокурор наш, скрепив сердце, подмахнуть приговор, чтобы кончить дело мирно, без шума, как сам председатель уголовной палаты прикатил под прокурорское крыльцо – и вошел и стал, поздоровавшись, рассказывать такие чудеса, что прокурор от удивления под конец сложил молча руки, запустив накрепко пальцы в пальцы, и только пожимал плечами.

– В памяти ли у вас дело, – так начал председатель, – дело Степана Воропаева, который, по собственному сознанию своему, убил товарища своего на Сухом овраге? Ну так, вообразите же, покойник-то жив!! Да, жив, либо сам нечистый влез в шкуру его да в ней и ходит! Вчера бурлаки или плотники, что ли, какие-то взбунтовались у привольного кабака, подняли такой шум, что весь город сбежался. Что же? Да признали они, сударь, того самого плотника, которого Воропаев прошлого осенью убил. Пристали к нему: «Кто-де ты таков, откуда взялся?» – «Я, говорит, вот такой-то Григорий, ходил в это лето за Волгу, а теперь пробираюсь домой да зашел по пути выпить; в этом, говорит, я виноват». – «Да ведь тебя прошлого лета убили?» – «Нет, господь миловал, покуда терпит еще грехам нашим – живем». – «Да ты со Степаном Воропаевым знался?» – «Как же, знался; летось мы с ним работали вместе вот там-то, и за ним еще моих пятнадцать копеек осталось». – «Ну, а вместе с ним вы летось в Казани были?» – «Нет, маленько не дошли, расстались». – «Так ведь тут-то он тебя и уходил; он и в остроге сидит, и скоро его уж на кобылу¹⁴ поведут!» – «Оборони господь; нет, этого не было; мы, признаться, оба хмельны были, так и повздорили, выпито было у нас на полтинник – я, вишь, с него еще правил пятнадцать копеек, а он их на мне считает; известное дело, хмельной разум. Так мы сели было отдохнуть, ночь нас захватила, тут я опять приступил к нему да по шее его и ударил; он меня и сам хватил и рыло разбил мне, я и бросил его, умылся на берегу, да и пошел сам по себе, а его покинул. Он, видно, отяжелел больно, да тут же и уснул. Больше я его не видал и слыхом об нем не слыхал».

Председатель с прокурором подивились такому дивному случаю; прокурор радовался, что не пометил еще приговора, и стали толковать о других делах: о шести в сюрax¹⁵ и прочее.

Между тем Гришку с таким показанием отправили в земский суд, оттуда в уездный, там к делу, в уголовную палату, а оттуда уж вместе с делом и со Степаном опять назад, для пополнения следствия. Сколько ни допытывались, ни от Гришки, ни от Степана другого не узнали: а на очной ставке Степан крестился, вздыхал от страха, глядя на Григория, считал его выходцем с того света и говорил: «Власть ваша, что хотите, то и делайте надо мною, а я его убил». А Гришка уличал его, что он врет; пересказывал ему, припоминал, по приказанию суда, всё, как что у них было; а Степан, немея и цепenea от страху, не понимал ничего, ровно одурел, хлопал глазами, вздыхал и оставался при своем показании; больше, говорит, ничего не знаю.

Дело, разумеется, кончилось тем, что освидетельствовали Степана, не сумасшедший ли он, а после сказали ему дурака за то, что он наделал только пустой тревоги, да и велели убираться на все четыре стороны.

Хоть я и не совсем знаю, как всё это объяснить, но кажется, что Степан, поссорившись и подравшись хмельной и наяву, видел во сне, будто убил товарища, и видел так живо, что греза показалась ему правдой. Может быть, тут подействовало и воспоминание о невольном убийстве Степана в собственную защиту свою, которое осталось навсегда нераскрытым. Не нашедши спросонья подле себя товарища, который ушел ночью, ничего ему не сказавши, да увидав еще на траве или на песке у берега следы крови, – Степан и вовсе смутился, уверял себя, что всё это не сон, а явь, пошел да сам на себя и донес. Страх довершил эту несчастную уверенность,

¹⁴ *Кобыла* — доска, на которой наказывали приговоренных кнутом.

¹⁵ *о шести в сюрax...* – карточный термин; сюрax – старшая масть, козыри.

и ложное убеждение заступило место истины. Но когда объявили Степану положительно, что он свободен и притом не убийца, то бедняк залился слезами и сказал:

– Нет, уж видно мне так на роду написано: судьбы не минуешь! Вяжите ж меня опять, я еще другого человека убил... – но ему не дали договорить, а зажали рот и выпроводили вон, приказав убраться. Никто ему не верил, а все считали помешанным, хоть господу доктора и дали свидетельство, что он в полном и здоровом уме.

Долго не мог он опаматоваться после такой проделки; долго ходил ровно без ума, покуда наконец Гришка, пристава к нему без всякого успеха целые сутки, чтобы им вместе запить горе, – успел, наконец, кой-как убедить его, что он несет дичь. Тогда только Степан вздохнул свободно, перекрестился вольной рукой, вспомнил всё прошлое – и подумал о будущем. Зелено вино, это продажное горе, опротивело ему до того, что он в жизнь свою не мог вынести и духу его. Перестав пить, Степан Воропаев вышел человеком и не только зарабатывал что следовало на себя и на своих, но лет через восемь завел свою артель, ходил в синей сибирке с саженью в руках; отец и дед его благословили, и Машка Сошникова, ныне Воропаева, готовила ему, между тем как он был на работе, щи да кашу, а в пост калинники, превкусные и превонючие калиновые пироги.

1843 г.

Н. С. Лесков

Интересные мужчины

Нет ничего увлекательнее порыва горячего чувства.
Берсъев

Глава первая

В дружественном мне доме с нетерпением ожидали получения февральской книги московского журнала «Мысль». Нетерпение это понятно, потому что должен был появиться новый рассказ графа Льва Николаевича Толстого. Я заходил к моим друзьям почаще, чтобы встретить ожидаемое произведение нашего великого художника и прочесть его вместе с добрыми людьми за их круглым столом и у их тихой, домашней лампы. Подобно мне, заходили и другие из коротких друзей – всё с одною и тою же самою целью. И вот желанная книжка пришла, но рассказа Толстого в ней не было: маленький розовый билетик объяснял, что рассказ не может быть напечатан. Все огорчились, и всяк это выразил соответственно своему характеру и темпераменту: кто молча надулся и насупился, кто заговорил в раздражительном тоне, иные проводили параллели между воспоминаемым прошедшим, переживаемым настоящим и воображаемым будущим. А я в это время молча перелистывал книгу и пробежал напечатанный тут новый очерк Глеба Ивановича Успенского – одного из немногих литературных собратий наших, который не разрывает связей с жизненною правдою, не лжет и не притворствует ради угодничества так называемым направлениям. От этого беседовать с ним всегда приятно и очень нередко – даже полезно.

На этот раз г. Успенский писал о своей встрече и разговоре с пожилою дамою, которая припоминала перед ним недавнее прошлое и замечала, что тогда мужчины были *интереснее*. С виду они были очень форменны, ходили в узких мундирах, а между тем имели много одушевления, сердечного жара, благородства и занимательности – словом, того, что делает человека *интересным* и через что он нравится. Нынче, по замечанию дамы, этого стало меньше, да порою и совсем не встречается. По профессиям мужчины теперь стали свободнее и одеваются, как хотят, и разные большие идеи имеют, а при всем том они стереотипны, они скучны и неинтересны.

Замечания пожилой дамы мне показались очень верными, и я предложил оставить тщетные кручины о том, чего читать не можем, и прочесть то, что предлагает г. Успенский. Предложение мое было принято, и рассказ г. Успенского всем показался справедливым. Пошли воспоминания и сравнения. Нашлось несколько человек, знавших лично недавно скончавшегося грузного генерала Ростислава Андреевича Фадеева¹⁶; стали припоминать, сколько необыкновенного, живого интереса умел он являть своею особою, которая с виду была так мешковата и ничего будто не обещала. Вспомнили, как он даже под старость легко бывало овладевал вниманием самых умных и милых женщин, и ни одному из молодых и цветущих здоровьем щеголей никогда не удавалось взять перед ним первенство.

– Эко вы вещь какую указали! – отозвался на мои слова собеседник, который был всех в компании постарше и отличался наблюдательностию. – Велико ли дело такому умному человеку, как был покойный Фадеев, заполнить себе внимание *умной* женщины! Умным женщинам, батюшка, жутко. Их, во-первых, на свете очень немного, а во-вторых – как они больше

¹⁶ Ростислав Андреевич Фадеев (1824–1883) – военный писатель и публицист реакционного направления.

других понимают, то они больше и страдают и рады встрече с настоящим умным человеком. Тут simile simili curatur¹⁷ или gaudet¹⁸ – не знаю, как лучше сказать: «подобное подобному радуется».

Нет, и вы и дама, с которою беседовал наш приятный писатель, берете очень свысока: вы выставляете людей отличных дарований, а по-моему более замечательно, что и гораздо ниже, в сферах самых обыкновенных, где, кажется, ничего особенного ожидать было невозможно, являлись живые и привлекательные личности, или, как их называли, «интересные мужчинки». И дамы, ими занятые, тоже были не из таких избранниц, которые способны «преклоняться» перед умом и талантом, а тоже, бывало, и такие, в своем роде, особы средней руки – очень бывали нежны и чувствительны. Как в глубоких водах, была в них своя скрытая теплота. Вот эти-то средние люди, по-моему, еще чуднее, чем те, которые подходили к типу лермонтовских героев, в которых в самом деле ведь нельзя же было не влюбляться.

– А вы знаете какой-нибудь пример такого рода интересных средних людей с скрытою теплотою глубоких вод?

– Да, знаю.

– Так вот и рассказывайте, и пусть это будет нам хоть каким-нибудь возмещением за то, что мы лишены удовольствия читать Толстого.

– Ну, «возмещением» мой рассказ не будет, а для времяпровождения я вам расскажу одну старую историйку из самого невеликого армейско-дворянского быта.

¹⁷ подобное подобным лечится (*лат.*).

¹⁸ радуется (*лат.*).

Глава вторая

Я служил в кавалерии. Стояли мы в Т. губернии, расположившись по разным деревням, но полковой командир и штаб, разумеется, находились в губернском городе. Городок и тогда был веселый, чистенький, просторный и с учреждениями – был в нем театр, клуб дворянский и большая, довольно нелепая, впрочем, гостиница, которую мы завоевали и взяли в свое владение почти большую половину ее номеров. Одни нанимали офицеры, которые имели постоянное пребывание в городе, а другие номера содержались для временно прибывающих из деревенских стоянок, и эти никому из посторонних людей не передавались, а так и шли все «под офицеров». Одни съезжают, а другие на их место приезжают – так и назывались «офицерскими».

Времяпровождение было, разумеется, – картеж и поклонение Бахусу, а также и богине радостей сердечных.

Игра велась порою очень большая – особенно зимою и во время выборов. Играли не в клубе, а у себя в «номерах» – чтобы свободнее, без сюртуков и нараспашку, – и зачастую проводили за этим занятием дни и ночи. Пустее и бесчиннее время, кажется, и проводить нельзя было, и отсюда вы сами, верно, можете заключить, что мы за народ были о ту пору и какими главным образом мы одушевлялись идеями. Читали мало, писали еще того менее – и то разве после сильного проигрыша, когда нужно было обмануть родителей и выпросить у них денег сверх положения. Словом – хорошему среди нас поучиться было нечему. Проигрывались то между собою, то с приезжими помещиками – людьми такого же серьезного настроения, как мы сами, а в антрактах пили да приказных били, увозили да назад привозили купчих и актеров.



Общество самое пустое и забубенное, в котором молодые спешили равняться со старшими и все равно не представляли в своих особах ничего умного и достойного уважения.

Об отменной чести и благородстве тоже ни разговоров, ни рацей никогда не было. Ходили все по форме и вели себя по заведенному обыкновению – тонули в оргиях и в охлаждении души и сердца ко всему нежному, высокому и серьезному. А между тем скрытая теплота, присущая глубоким водам, была и оказалась на нашем мелководье.

Глава третья

Командир полка был у нас довольно уже пожилой – очень честный и бравый воин, но человек суровый и, как говорилось в то время, – «без приятностей для нежного пола». Ему было лет пятьдесят с чем-нибудь. Он был уже два раза женат, в Т. опять овдовел и снова задумал жениться на молоденькой барышне, происходившей из местного небогатого помещичьего круга. Звали ее Анна Николаевна. Имя этакое незначительное, и под кадриль тому – всё в ней было такое же совершенно незначительное. Среднего роста, средней полноты, ни хороша, ни дурна, белокуренькие волосики, голубые глазки, губки аленькие, зубки беленькие, круглолица, белолица, на румяных щечках по ямочке – словом, особа не вдохновительная, а именно, что называется, – «стариковское утешение».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.